

ПРОЛОГ. ЧЕЛОВЕК, ПИСАВШИЙ В БАШНЕ

Я увидел седого, но еще крепкого человека, который сидел за письменным столом и писал.

Он находился в комнате, в башне, очень высоко над землей, так что из большого окна влево от него виднелись одни только дали: морской горизонт, мыс и мерцание огней сквозь туманную дымку, по которому на закате за много миль узнаешь город. Комната была чистая, красивая, но чем-то неуловимым, какой-то своей необычностью она показалась мне удивительной и странной. Трудно было определить, какого она стиля, а простой костюм, в который одет был этот человек, не говорил ничего ни об эпохе, ни о стране, где все это происходило. «Быть может, это – Счастливое Будущее, – подумал я, – или Утопия, или Страна Простых Грез». У меня в голове промелькнули фраза Генри Джеймса и рассказ о «Великой Счастливой Стране», но так же быстро улетучились, не оставив и следа.

Человек писал чем-то вроде вечного пера – новейшее изобретение, значит, историческое прошлое тут ни при чем. Исписав быстро и ровно лист, он присоединил его к стопке на изящном столике под окном. Последние исписанные листы лежали в беспорядке, покрывая остальные, соединенные в тетради.

Он, видимо, не замечал моего присутствия, а я стоял и ожидал, когда он перестанет писать. Он был, несомненно, стар, но писал без напряжения, твердой рукой...

Высоко над его головой наклонно висело вогнутое зеркало; какое-то легкое движение в нем привлекло мое внимание; я взглянул вверх и увидел искаженное и потому странное, но очень яркое, многоцветное отражение великолепного дворца, террасы, широкой и большой дороги со снующими по ней людьми, фантастическими, невероятными из-за кривизны зеркала. Я быстро обернулся, чтобы яснее рассмотреть все это из окна, но оно находилось слишком высоко; внизу ничего не было видно, и я снова

заглянул в зеркало.

Но в эту минуту человек откинулся на спинку кресла. Он положил перо и вздохнул, точно говоря: «Ох уж эта работа! Как она меня радует и утомляет!»

– Что это за место? – спросил я. – И кто вы?

Он с изумлением оглянулся.

– Что это за место? – повторил я. – Где я нахожусь?

Он пристально посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей, потом черты его разгладились. Он улыбнулся и указал мне на стул у стола.

– Я пишу, – сказал он.

– Об этом?

– О Перемене.

Я сел. Кресло было очень удобное, свет падал сбоку.

– Если бы вы прочли... – начал он.

– Это объяснит мне? – спросил я, указывая на рукопись.

– Объяснит, – ответил он и, все еще глядя на меня, потянулся за новым, чистым листом бумаги.

Я окинул взглядом комнату, потом посмотрел на столик. На одной из стопок очень ясно выделялась цифра «1», и я взял ее, улыбнувшись в ответ на дружелюбный взгляд старика.

– Отлично! – сказал я, вдруг почувствовав себя легко и свободно.

Он кивнул мне и снова стал писать, а я с некоторым недоверием и любопытством раскрыл рукопись.

Вот эта история, написанная жизнерадостным, неутомимым стариком в его уютной башне.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОМЕТА

1. ПЫЛЬ В МИРЕ ТЕНЕЙ

Я решил описать Великую Перемену, так как она повлияла на мою жизнь и на жизнь немногих близких мне людей, и делаю это главным образом для собственного удовольствия.

Давным-давно, еще в дни моей суровой и несчастной юности, хотелось мне написать какую-нибудь книгу. Скрипеть пером втайне от всех и мечтать о славе писателя было для меня большим утешением, и я очень интересовался литературным миром и жизнью литераторов. Даже и сейчас, среди довольства и покоя, я рад тому, что у меня есть время и возможность хоть частично осуществить свои юношеские безнадежные мечты. Но одно это вряд ли заставило бы меня сесть за письменный стол в современном мире, где так много живого и интересного дела даже для стариков. Я считаю, что такое обозрение моего прошлого необходимо для того, чтобы яснее понимать настоящее. Уходящие годы заставляют наконец оглянуться на прошлое; для семидесятилетнего человека события его былой молодости имеют гораздо больше значения, чем для сорокалетнего. А я уже потерял связь со своей молодостью. Старая жизнь кажется мне отрезанной от новой, кажется такой чуждой и бессмысленной, что иногда я начинаю сомневаться, была ли она вообще. Из-памяти стерлись поступки, здания, места. Еще на днях гуляя после обеда по той местности, где когда-то пустые и мрачные окраины Суотингли тянулись к Литу, я вдруг остановился и невольно «просил себя: «Неужели здесь, на этом самом месте, среди бурьяна, отбросов и черепков старой посуды, я украдкой заряжал свой револьвер для убийства? Полно, было ли это действительно в моей жизни? Неужели у меня могли возникнуть такие мысли и намерения? Может быть, это только страшный ночной кошмар, примешавшийся к моим воспоминаниям о прошлой жизни? Наверное, у многих еще здравствующих моих сверстников возникают такие же сомнения. Я думаю, что новым поколениям, которые сменят нас в великих делах человечества, понадобится множество таких воспоминаний, как мои, чтобы составить себе хоть некоторое понятие о том мире теней, что предшествовал нашим дням. К тому же моя история довольно типична для Перемены; она застала меня в разгаре любовного увлечения, и мне посчастливилось наблюдать

зарождение нового порядка...

Память переносит меня за пятьдесят лет назад, в маленькую полутемную комнатку с подъемным окном, открытым в звездное небо, и я мгновенно чую особенный запах этой комнаты – едкий запах дешевого керосина, горящего в плохо заправленной лампе. Лет за пятнадцать до этого электрическое освещение было уже достаточно усовершенствовано, но большая часть населения продолжала пользоваться такими лампами. Вся первая сцена проходит в моем воспоминании под этот пахучий аккомпанемент. Так пахла комната вечером. Днем же в ней стоял более легкий запах – спертый, острый, который почему-то ассоциируется у меня с пылью.

Позвольте подробно описать вам эту комнату. Она была площадью примерно восемь на семь футов, а в высоту несколько больше. Потолок был беленый, кое-где потрескавшийся, покособившийся, серый от копоти, а в одном месте расцвеченный желтоватыми и зеленоватыми пятнами от проникавшей сверху сырости. Стены были оклеены коричневато-серыми обоями с красными разводами, изображавшими не то изогнутые страусовые перья, не то цветы акантуса, не лишённые вначале, когда обои были еще новыми, своеобразной, тусклой живописности. В обоях зияли дыры, – результат бесплодных попыток Парлода вбивать гвозди, чтобы развешивать на них рисунки. Один гвоздь как-то попал между двумя кирпичами и удержался; теперь на нем, при ненадежной поддержке перетершихся и связанных узлами шнурков от шторы, висели полочки для книг из дощечек, покрытых голубым лаком и украшенных узорчатой американской бахромой, едва прикрепленной мелкими гвоздиками. Под полками стоял столик, который брыкался, как мул, при внезапном прикосновении чьего-либо колена. Он был покрыт скатертью, узор которой, черный с красным, разнообразили чернильные пятна – у Парлода вечно перевертывалась бутылка с чернилами; а посредине стола – главное в нашей картине – стояла зловонная лампа. Сделана она была из беловатого прозрачного материала, чего-то среднего между фарфором и стеклом; абажур из того же материала не защищал глаз и толькоставлял напоказ пыль и керосин, обильно размазанные по всей лампе.

Неровные доски пола были покрыты облезлой темно-коричневой краской, а в одном месте тускло расцветал среди пыли и теней пестрый коврик.

Кроме того, в комнате был маленький чугунный камин, выкрашенный бурой краской, с совсем крошечной безобразной решеткой, тоже чугунной, сквозь которую виднелись серые камни очага. Огня в камине не было; из-за решетки виднелись только клочки бумаги и сломанная маисовая трубка; в угол был задвинут облезлый ящик для угля с оторванной ручкой. В те времена каждая комната отапливалась отдельно, и очаг давал больше грязи, чем тепла. Предполагалось, что небольшой камин, подъемное окно и неплотно закрывающаяся дверь достаточно вентилируют помещение.

У одной стены выдвижная кровать Парлода скрывала свои серые от старости простыни под ветхим, заплатанным одеялом, в то время как под ней нашли себе прибежище всякие ящики и картонки; а по обе стороны окна стояли старая этажерка с разной рухлядью и умывальник с нехитрыми туалетными принадлежностями.

Этот деревянный умывальник изобиловал точеными украшениями, сделанными наскоро, очевидно, для того, чтобы шишками и шариками на ножках и углах скрыть топорную работу. Затем он попал, очевидно, к очень досужему человеку, имевшему под рукой горшок с охрой, лак и набор мягких кистей и щеток. Он сперва выкрасил умывальник охрой, потом вымазал лаком и затем, думается мне, принялся своими щетками и кистями разбивать лак бороздками и кругами под какое-то необыкновенное дерево. Законченный таким образом умывальник прослужил долгую и трудную службу; его рубили, кололи, давали ему пинка, били кулаками, пачкали, прожигали в нем дыры, околачивали его молотком, мочили, сушили – словом, он подвергался всевозможным испытаниям за исключением двух: его пока еще не сожгли и ни разу не чистили. И, наконец, после всех злоключений он нашел убежище в каморке Парлода под самым чердаком, чтобы выполнять несложные обязанности, возлагаемые на него чистоплотностью его последнего хозяина. При умывальнике имелся таз, кувшин, жестяное ведро, кусок желтого мыла в мыльнице, зубная щетка, кисть для бритья, похожая на крысиный хвост, мохнатое полотенце и еще два-три мелких предмета. В те дни только очень зажиточные люди имели более удобные умывальные приспособления, и надо заметить, что каждую каплю воды, употребляемую Парлодом, несчастная служанка – Парлод называл ее «рабыней»

– приносила снизу на самый верх дома и затем уносила обратно. Мы уже начинаем забывать, что современная чистоплотность появилась, в

сущности, очень недавно. Несомненно, можно смело утверждать, что Парлод никогда не купался и ни разу с самого раннего детства не мылся целиком с головы до ног. Мыться так в то время, о котором я рассказываю, вряд ли приходилось хотя бы одному из пятидесяти.

Комод, тоже оригинально разделанный под какое-то дерево, содержал в двух больших и двух маленьких ящиках весь гардероб Парлода, а деревянные крючки на двери для двух его шляп завершали меблировку «жилой комнаты» накануне Перемены. Впрочем, я забыл упомянуть о стуле с туго набитой «подушкой», довольно неуклюже скрывавшей недостатки плетеного сиденья, и забыл именно потому, что как раз сидел на нем в ту минуту, с которой удобнее всего начать мой рассказ.

Я описал комнату Парлода так подробно, чтобы помочь вам понять, в каком ключе написаны первые главы моего рассказа; однако не следует думать, что в то время я обращал хотя бы малейшее внимание на эту странную обстановку или на чадную лампу. Все это грязное безобразие казалось мне тогда самой естественной и обычной обстановкой человеческого существования, Таков был мир, который я знал. Мой ум был целиком поглощен более серьезными и захватывающими проблемами, и только теперь, в далеких воспоминаниях, эти мелочи кажутся мне примечательными и значительными, как внешнее проявление душевной сумятицы, в которую повергал нас старый мир.

Парлод с биноклем в руке стоял у раскрытого окна. Он искал новую комету, нашел, но не поверил этому и потерял ее снова.

Мне комета только мешала, ибо я хотел говорить с ним совсем о другом, но Парлод был поглощен ею. Голова моя горела, я был точно в лихорадке от забот и огорчений; я хотел поговорить с ним по душам или хоть облегчить свое сердце романтическими излияниями, поэтому я едва слушал то, о чем он мне говорил. Впервые в жизни услышал я о новой световой точке среди бесчисленных светящихся точек вселенной и отнесся к этому совершенно равнодушно.

Мы были почти ровесники: Парлоду было двадцать два года, а мне – на восемь месяцев меньше. Он служил, по его собственному определению, «переписчиком набело» у одного мелкого стряпчего в Оверкасле, а я был младшим служащим в гончарной лавке Роудона в Клейтоне. Мы

познакомились в «парламенте» Союза молодых христиан Суотингли; оказалось, что мы оба посещаем курсы в Оверкасле: он изучал естествознание, а я стенографию. Мы стали вместе возвращаться домой и подружились. (Хочу напомнить вам, что Суотингли, Оверкасл и Клейтон соседствовали друг с другом в большой промышленной области Мидлэнда.) Мы поведали друг другу наши сомнения в истинности религии, признались в нашем интересе к социализму; раза два он по воскресеньям ужинал у моей матери, и я мог пользоваться его комнатой. Он был тогда высоким неуклюжим юношей с льняными волосами, длинной шеей и большими руками, очень увлекающимся и восторженным. Два раза в неделю он посещал вечерние курсы в Оверкасле; его любимым предметом была физическая география, и таким образом чудеса космического пространства полностью захватили его. У своего дяди, фермера по ту сторону болот в Лите, он раздобыл себе бинокль, купил дешевую бумажную планисферу и астрономический альманах Уитекера; и долгое, время дневной и лунный свет казались ему лишь досадными помехами в его любимом занятии – наблюдении за звездами. Его влекли к себе бесконечность просторов вселенной и те никому не известные тайны, что скрываются в этих мрачных бездонных глубинах. Он неустанно трудился и с помощью очень подробной статейки в популярном ежемесячнике «Небо», издававшемся для любителей астрономии, навел наконец свой бинокль на нового гостя нашей сферы, явившегося из космических пространств. С восторгом смотрел он на маленькое дрожащее световое пятнышко среди блестящих точек и смотрел не отрываясь. Я должен был подождать со своими излияниями.

– Удивительно! – вздохнул он и снова восторженно повторил: –
Удивительно! – Не хочешь ли посмотреть? – обернулся он ко мне.

Мне пришлось посмотреть, а потом слушать о том, что этот едва заметный странник станет, и очень скоро, одной из величайших комет, какие когда-либо видел мир, и что она пройдет в стольких-то и стольких-то миллионах миль от Земли – совсем рядом, по мнению Парлода; спектроскоп уже исследует ее химические секреты, хотя никто еще не понял, что за странная зеленая полоса проходит по ней, и что комету уже фотографируют в то время, как она разворачивает хвост – в необычном направлении – в сторону Солнца, и что потом хвост опять свертывается. Я слушал одним ухом и все время думал о Нетти Стюарт, и о ее последнем письме ко мне, и об отвратительной физиономии старого Роудона, которого я видел сегодня

днем. Я сочинял ответ Нетти и придумывал запоздалые возражения своему хозяину, и снова образ Нетти заслонял все остальные мысли...

Нетти Стюарт была дочерью старшего садовника богатой вдовы мистера Веррола, и мы с ней влюбились друг в друга и начали целоваться, когда нам не было еще восемнадцати лет. Наши матери были троюродными сестрами и подругами со школьной скамьи; и хотя мать рано овдовела из-за несчастного случая на железной дороге и принуждена была отдавать комнаты внаем (у нее квартировал помощник клейтонского приходского священника) – словом, занимала более низкое положение в обществе, чем миссис Стюарт, они поддерживали дружеские отношения, и мать время от времени посещала домик садовника в Чексхилл-Тоуэрссе. Я обыкновенно сопровождал ее. И я помню, как ясным, светлым июльским вечером, в один из тех долгих золотистых вечеров, которые не уступают места ночи, а – скорее из любезности – допускают наконец на небо месяц с избранной свитой звезд, у пруда с золотыми рыбками, где сходились тисовые аллеи, Нетти и я робко признались друг другу в любви. Я до сих пор помню – и всегда испытываю волнение при этом воспоминании – то трепетное чувство, которое охватило меня тогда. Нетти была в белом платье, ее волосы спадали мягкими волнами над сияющими темными глазами; нежную шею охватывало жемчужное ожерелье с маленьким золотым медальоном посередине. Я поцеловал ее несмелые губы и потом целых три года – нет, наверное, в течение всей жизни, и ее и моей, – я готов был умереть за нее.

Вы должны понять – а понимать с каждым годом становится все труднее, – до какой степени тогдашний мир во всем отличался от нынешнего. Это был мрачный мир, полный беспорядка, болезней, страданий, которые можно было бы предотвратить; полный грубости и бессмысленной, непредумышленной жестокости, и тем не менее, а быть может, именно вследствие того, что весь мир был объят мраком, на долю человека выпадали иногда редкие минуты такой красоты, какая теперь стала уже невозможной. Великая Перемена совершилась навеки, счастье и красота окружают нас от рожденья до смерти, на земле теперь – мир, и в людях – благоволение. Никому и в голову не придет мечтать о возвращении бедствий прежнего времени, и, однако, даже тогда серую завесу мрака изредка пронизывала такая яркая радость, такое пылкое чувство, каких теперь уже не бывает. Уничтожила ли Перемена крайности в жизни или, быть может, так кажется мне просто потому, что молодость моя ушла – да и

силы зрелости уже на ущербе – и унесла с собой восторги и отчаяние, оставив мне только опыт, сострадание и воспоминания?

Не знаю. Чтобы ответить на этот неразрешимый вопрос, нужно было бы быть молодым и тогда и теперь.

Быть может, холодный наблюдатель даже и в старое время нашел бы мало красоты в наших фотографиях. Они хранятся в столе, на котором я пишу, и я вижу на них неловкого юнца в плохо сшитом костюме, купленном в магазине готового платья. А Нетти... Да и Нетти плохо одета, поза у нее напряженная и искусственная, но за фотографией я вижу ее живую прелесть, снова ощущаю то таинственное очарование, которое влекло меня к ней. Ее лицо живет даже и на фотографии, иначе я давно уничтожил бы этот портрет.

Красота не поддается описанию. Как жаль, что я не владею другим искусством и не могу нарисовать на полях моей рукописи то, чего не выразишь словами. Ее глаза смотрели так строго. Ее верхняя губа была чуточку короче нижней, и поэтому-то так мило складывался ее рот и расплывался в прелестную улыбку. О, эта милая, строгая улыбка!

Поцеловавшись, мы решили пока ничего не говорить родителям о нашем окончательном решении. Потом пришла пора расстаться. Застенчиво простился я с Нетти при посторонних, и мы с матерью пошли через освещенный луною парк – в чаще папоротника слышался шорох встревоженных ланей – к железнодорожной станции Чексхилла, чтобы вернуться в наш темный подвал в Клейтоне. Затем почти год я видел Нетти только в мечтах. При следующей встрече мы решили переписываться, но непременно тайно: Нетти не хотела, чтобы кто-нибудь в ее семье, не исключая даже единственной сестры, знал о ее чувстве. Я должен был отсылать свои драгоценные послания заклеенными в двойных конвертах, по адресу одной ее школьной подруги, жившей близ Лондона. Я мог бы даже теперь воспроизвести этот адрес, хотя и дом, и улица, и самый пригород давно исчезли без следа.

Но с перепиской началось отчуждение, – ведь мы впервые пришли в иное, нечувственное соприкосновение и пытались выразить свои мысли и настроения на бумаге.

Надо вам сказать, что мысль находилась тогда в очень странном состоянии; ее душили устарелые, застывшие штампы, она путалась в извилистом лабиринте всевозможных ухищрений, приспособлений, замалчиваний, условностей и уверток. Низкие цели и соображения извращали правду в устах человека. Я был воспитан моей матерью в странной, старомодной и узкой вере в известные религиозные истины, в известные правила поведения, в известные понятия социального и политического порядка, имевшие так же мало применения в реальной действительности для ежедневных нужд и потребностей людей, как белье, пересыпанное лавандой и спрятанное в шкафу. Ее религия и в самом деле пахла лавандой; по воскресеньям она отметала от себя реальную жизнь, убирала будничную одежду и даже всю хозяйственную утварь, прятала свои жесткие и потрескавшиеся от стирки руки в черные, тщательно заштопанные перчатки, надевала старое черное шелковое платье и чепец и шла в церковь. Меня она тоже брала с собой, приодетого и приглаженного. Там мы пели, склоняли голову, слушали звучные молитвы, присоединяли свои голоса к звучному хору и облегченно вздыхали, вместе со всеми вставая по окончании богослужения, которое начиналось возгласом: «Во имя отца и сына...» – и заканчивалось бесцветной краткой проповедью. Был в религии моей матери и ад с косматым рыжим пламенем, который казался ей ужасным, и дьявол, который был *ex officio* [\[1\]](#) врагом английского короля; верила она и в греховность плотских вожделений. Мы должны были верить, что большинство обитателей нашего бедного, несчастного мира будет на том свете искупать свои земные заблуждения и тревожнения самыми изысканными мучениями, которым не будет конца, аминь. На самом же деле это адское пламя больше никого не пугало. Уже задолго до моего времени все эти ужасы потускнели и увяли, утратив всякую реальность. Не помню, боялся ли я всего этого даже в раннем детстве, – во всяком случае, меньше, чем великана, убитого в сказке Бинстоком, – а теперь это вспоминается мне, точно рамка для измученного, морщинистого лица моей бедной матери, вспоминается с любовью, как часть ее самой. Мне кажется, что наш жилец, мистер Геббитас, пухлый маленький толстячок, так странно преображавшийся в своем облачении и так громогласно распевавший молитвы времен Елизаветы, немало способствовал ее увлечению религией. Она наделяла бога своей трепетной, лучистой добротой и очищала его от всех качеств, какие приписывали ему богословы; она сама была – если бы только я мог тогда понять это – лучшим примером всего того, чему хотела научить меня.

Так я вижу это теперь, но молодость судит обо всем слишком прямолинейно, и если вначале я вполне серьезно принимал все целиком: и огненный ад и мстительного бога, не прощающего малейшее неверие, как будто они были так же реальны, как чугуноплавильный завод Блэддина или гончарни Роудона, – то потом я так же серьезно выбросил все это из головы.

Мистер Геббитас иногда, как говорится, «обращал внимание» на меня: он не дал мне по окончании школы бросить чтение, и с наилучшими намерениями, чтобы уберечь меня от яда времени, заставил прочитать «Опровергнутый скептицизм» Бэрбла, и обратил мое внимание на библиотеку института в Клейтоне.

Достопочтенный Бэрбл совершенно ошеломил меня. Из его возражений скептику мне стало ясно, что ортодоксальная доктрина и вся эта потускневшая и уже ничуть не страшная загробная жизнь, которые я принимал так же безоговорочно, как принимают солнце, в сущности, не стоят и выеденного яйца, а окончательно убедила меня в этом первая попавшаяся мне в библиотеке книга – американское издание полного собрания сочинений Шелли, его едкая проза и воздушная поэзия. Я стал отъявленным атеистом. В Союзе молодых христиан я вскоре познакомился с Парлодом, который поведал мне под строжайшим секретом, что он «насквозь социалист», и дал прочесть несколько номеров журнала с громким названием «Призыв», начавшего крестовый поход против господствующей религии. Всякий неглупый юнец в отрочестве подвержен – и, по счастью, так будет всегда – философским сомнениям, благородному негодованию и новым веяниям, и, признаюсь вам, я перенес эту болезнь в тяжелой форме. Я говорю «сомнениям», но, в сущности, сомнение куда сложнее, а это было просто отчаянное, страстное отрицание: «Неужели в это я мог верить!» И в таком состоянии я начал, как вы помните, писать любовные письма к Нетти.

Мы живем теперь в такое время, когда Великая Перемена во многом уже завершилась, когда в людях воспитывается известная духовная мягкость, ничего, впрочем, не отнимающая от нашей силы, и потому теперь трудно понять, как скована была и с каким трудом пробивала себе дорогу мысль тогдашней молодежи. Задуматься о некоторых вопросах уже значило чуть ли не решаться на бунт, и обыкновенный молодой человек начинал колебаться между скрытностью и дерзким вызовом. Теперь многие находят

Шелли – несмотря на всю звучность и мелодичность его стиха – слишком шумным и устарелым, потому что теперь не существует больше его Анарха; но было время, когда всякая новая мысль неизбежно выражалась в эдаком битье стекол. Нелегко представить себе тогдашнее брожение умов, всегдашнюю готовность освистать всякий авторитет, вызывающий тон, которым постоянно хвастались мы, зеленые юнцы того времени. Я с жадностью читал сочинения Карлейля, Броунинга, Гейне, потрясшие не одно поколение, и не только читал и восхищался, но и следовал им. В письмах к Нетти излияния в любви перемешивались с богословскими, социологическими и космическими рассуждениями, и все это в самом высокопарном тоне. Не удивительно, что эти письма приводили ее в полное недоумение.

Я с любовью и даже, может быть, с завистью вспоминаю свою ушедшую юность, но мне было бы трудно защищаться, если бы кто вздумал осудить меня без снисхождения, как глупого, не чуждого рисовки, неуравновешенного подростка, как две капли воды похожего на свою выцветшую фотографию. Признаться, когда я пытаюсь припомнить свои усилия писать умные и значительные письма к возлюбленной, меня просто бросает в дрожь... И все же мне жаль, что хоть часть из них не сохранилась.

Она писала мне просто, круглым детским почерком и плохим слогом. В первых письмах чувствовалось робкое удовольствие от слова «дорогой»; помню, как я удивился, а потом, когда понял, обрадовался, прочитав рядом с моим именем слово «любый», что означало «любимый». Но когда начались мои философствования, ее ответы стали менее нежными.

Не хочу утомлять вас рассказом о нашей глупой детской ссоре, о том, как в одно из воскресений я отправился в Чексхилл без приглашения и еще больше испортил дело, а затем поправил его, написав письмо, которое она нашла «милым». Не буду рассказывать вам и о последующих наших недоразумениях. Виновником всегда оказывался я, и до последней ссоры я всегда мирился первый; а между ссорами мы пережили несколько моментов нежной близости, и я очень любил мою Нетти. Беда была в том, что в темноте и уединении я неотступно думал о ней, о ее глазах, о ее прикосновении, о ее сладком, чарующем присутствии; но, когда я садился за письмо к ней, меня обуревали мысли о Шелли, о Вернее, о самом себе и о прочих совершенно неподходящих материях. Пылкому влюбленному

труднее высказать свою любовь, чем тому, кто совсем не любит. Что же касается Нетти, то я знаю, она любила не меня, а эту сладостную таинственность. Разбудить в ней страсть суждено было не мне... Так тянулась наша переписка. Вдруг она написала мне, что сомневается, может ли она любить социалиста и неверующего; за этим письмом последовало другое, совершенно неожиданное и по стилю и по содержанию. Она считает, что мы не подходим друг другу, что у нас разные вкусы и убеждения, что она давно уже собирается вернуть мне мое слово. Итак, я получил отставку, хоть и не сразу понял ее. Письмо я прочел, когда пришел домой, получив от старого Роудона довольно грубый отказ прибавить мне жалованья. Поэтому я в тот вечер лихорадочно пытался как-то осознать и примириться с двумя неожиданными и ошеломляющими открытиями: и Нетти и Роудон совершенно во мне не нуждаются. А тут еще разговор о комете!

Каково же было мое положение?

Я до того сроднился с мыслью, что Нетти – моя навсегда, ибо таковы традиции «верной любви», что обдуманное, холодное письмо ее, после того как мы целовались, шептались и были так близки, потрясли меня до глубины души. И Роудон тоже меня не ценит! Мне казалось, что весь мир внезапно обрушился на меня, грозит сокрушить и уничтожить и что мне необходимо защитить свои права каким-нибудь решительным образом. Мое уязвленное самолюбие не находило утешения ни в вере моего детства, ни в неверии последних лет.

Хорошо было бы сейчас же уйти от Роудона и каким-нибудь необычайным и быстрым способом озолотить его конкурента Фробишера, владельца соседних гончарен!

Первую часть этой программы выполнить было нетрудно, – стоило только подойти к Роудону и объявить ему: «Вы еще обо мне услышите», – но вторая часть могла и не удалась: Фробишер мог подвести меня и не разбогатеть. Это, впрочем, было не так важно. Важнее всего – Нетти. В голове у меня теснились обрывки фраз для письма к ней. Презрение, ирония, нежность – что выбрать?..

– Вот досада! – сказал вдруг Парлод.

– Что такое?

– Разожгли печи на чугуноплавильном заводе, и дым мешает мне смотреть на комету.

Я решил воспользоваться перерывом и поговорить с Парлодом.

– Знаешь, – начал я, – мне, наверно, придется все бросить. Старый Роудон не дает прибавки, а мне теперь нельзя будет продолжать работу на прежних условиях. Понимаешь? Придется, пожалуй, совсем уехать из Клейтона.

Парлод опустил бинокль и посмотрел на меня.

– Не такое теперь время, чтобы менять место, – сказал он, помолчав.

То же самое говорил мне Роудон, только более грубо.

Но с Парлодом я обыкновенно впадал в героический тон.

– Мне надоела эта дурацкая работа, – сказал я. – Лучше терпеть физические лишения, чем унижаться.

– Не уверен, – медленно протянул Парлод.

И тут начался один из наших бесконечных разговоров, тех пространных, запутанных, отвлеченных и вместе с тем интимных разговоров, которые до конца мира будут дороги сердцу каждого мыслящего юноши. Этого не изменила даже Перемена.

Конечно, я не могу теперь восстановить в памяти весь извилистый лабиринт слов, я не запомнил почти ничего из этого разговора, но могу ясно представить себе, как это было. Я, наверное, рисовался, как обычно, и, без сомнения, вел себя глупейшим образом, как оскорбленный и страдающий эгоист, а Парлод играл роль глубокомысленного философа.

Мы вышли прогуляться. Ночь была летняя, теплая и располагала к откровенности. Один отрывок разговора я запомнил очень хорошо.

– Временами я мечтаю, – сказал я, указывая на небо, – чтобы эта твоя комета или еще что-нибудь действительно столкнулась с землей и смела бы

всех нас прочь со всеми стачками, войнами, с нашей сумятицей, любовью, ревностью и всеми нашими несчастьями.

– Вот как! – сказал Парлод, видимо, задумываясь над моими словами. – Это еще больше увеличит наши бедствия, – вдруг заявил он, хотя я уже говорил совсем о другом.

– Что именно?

– Столкновение с кометой. Это может отбросить мир назад. Оставшиеся в живых еще больше одичают.

– А почему ты думаешь, что кто-нибудь может остаться в живых?..

В таком стиле велась наша беседа, пока мы шли по узкой улице, где жил Парлод, и потом поднимались по лестнице и брели переулками к Клейтон-Крэсту и к большой дороге.

Но, увлекшись воспоминаниями о днях, предшествовавших Перемене, я совсем забыл, что места эти теперь неузнаваемо изменились, что узкая улица, лестница и вид с Клейтон-Крэста, да, в сущности, и весь тот мир, в котором я родился и вырос, давно исчезли из пространства и времени и чужды новому поколению. Вы не можете себе представить то, что вижу я, – темную пустынную улицу с рядами жалких домов, освещенную тусклыми газовыми фонарями на углах; не можете почувствовать неровную мостовую под ногами, не можете заметить слабо освещенные окна и в них – тени людей на безобразных и пестрых от заплат, зачастую косо висящих шторах. Не можете пройти мимо пивной, освещенной немного ярче, не увидите ее окон, стыдливо скрывающих то, что происходит внутри, и из ее приотворенной двери вас не обдаст отравленным воздухом, и ушей ваших не коснется грубая брань, и не проскользнет мимо вас вниз по ступенькам крыльца съездившаяся фигурка бездомного ребенка.

Мы перешли более длинную улицу, по которой грохотал неуклюжий, пыхтящий паровичок, изрыгая дым и искры; а вдали блистали грязным блеском витрины магазинов, да фонари на тележках уличных торговцев роняли искры своего гарного масла в ночь. На этой улице смутно темнели фигуры пешеходов, а с пустыря между домами слышался голос странствующего проповедника. Вы не можете увидеть всего этого так, как вижу я, и не можете, если не видели картин великого Гайда, представить

себе, как выглядели в свете газовых фонарей большие щиты для афиш, мимо которых мы проходили.

О эти щиты! Они пестрели самыми яркими красками исчезнувшего мира. На них на слоях клейстера и бумаги сливалась в нестройном хоре разноголосица новомодных затей; продавец пилюль и проповедник, театры и благотворительные учреждения, чудодейственное мыло и удивительные пикули, пишущие и швейные машины – все это вперемешку кричало и взывало к прохожему. Далее тянулся грязный переулок, покрытый угольной пылью; фонарей здесь вовсе не было, и только в многочисленных лужах поблескивали отраженные звезды. Увлеченные разговором, мы не обращали на это внимания.

Затем мимо огородов, мимо пустыря, засаженного капустой, мимо каких-то уродливых сараев и заброшенной фабрики мы вышли на большую дорогу. Она шла в гору мимо нескольких домов и двух-трех пивных и сворачивала в том месте, откуда открывался вид на всю долину с четырьмя сливающимися шумными промышленными городами.

Правда, надо признать, что с сумерками в эту долину опускались чары какого-то волшебного великолепия и окутывали ее вплоть до утренней зари. Ужасающая бедность скрывалась, точно под вуалью; жалкие лачуги, торчащие дымовые трубы, клочки тощей растительности, окруженные плетнем из проволоки и дощечек от старых бочек, ржавые рубцы шахт, где добывалась железная руда, груды шлака из доменных печей – все это словно исчезало; дым, пар и копоть от доменных печей, гончарных и дымогарных труб преображались и поглощались ночью. Насыщенный пылью воздух, душный и тяжелый днем, превращался с заходом солнца в яркое волшебство красок: голубой, пурпурной, вишневой и кроваво-красной с удивительно прозрачными зелеными и желтыми полосами в темнеющем небе. Когда царственное солнце уходило на покой, каждая доменная печь спешила надеть на себя корону пламени; темные груды золы и угольной пыли мерцали дрожащими огнями, и каждая гончарня дерзко венчала себя ореолом света. Единое царство дня распадалось на тысячу мелких феодальных владений горящего угля. Остальные улицы в долине заявляли о себе слабо светящимися желтыми цепочками газовых фонарей, а на главных площадях и перекрестках к ним примешивался зеленоватый свет и резкое холодное сияние фонарей электрических. Переплетающиеся линии железных дорог отмечали огнями места пересечений и вздымали

прямоугольные созвездия красных и зеленых сигнальных звезд. Поезда превращались в черных членистых огнедышащих змеев...

А над всем этим высоко в небе, словно недостижимая и полузабытая мечта, сиял иной мир, вновь открытый Парлодом, не подчиненный ни солнцу, ни доменным печам, – мир звезд.

Так выглядели те места, где мы с Парлодом вели наши бесконечные разговоры. Днем с вершины холма на запад открывался вид на фермы, парки, большие богатые дома, на купол далекого собора, а иногда в пасмурную погоду на дождливом небе ясно вырисовывался хребет далеких гор. А еще дальше, невидимый за горизонтом, лежал Чексхилл; я всегда его чувствовал, и ночью сильнее, чем днем. Чексхилл и Нетти!

И когда мы шли по усыпанной угольным мусором тропинке, рядом с выбитой проезжей дорогой, и обсуждали свои горести, нам, двум юнцам, казалось, что с этого хребта наш взор охватывает целый мир.

С одной стороны там, вокруг грязных фабрик и мастерских, в тесноте и мраке ютились рабочие, плохо одетые, вечно недоедавшие, плохо обученные, всегда получавшие втридорога все самое худшее, никогда не уверенные, будет ли у них завтра даже этот жалкий заработок, и среди их нищенских жилищ, как сорная трава, разросшаяся на свалке, вздымались часовни, церкви, трактиры; а с другой стороны – на просторе, на свободе, в почете, не замечая нищенских лачуг, живописных в своей бедности и переполненных тружениками, жили землевладельцы и хозяева, собственники гончарен, литейных заводов, ферм и копей. Вдали же, среди мелких книжных лавчонок, особняков духовенства, гостиниц и других зданий пришедшего в упадок торгового города, оторванный от жизни, далекий, словно принадлежащий к иному миру, прекрасный собор Лоучестера бесстрастно поднимал к смутным, непостижимым небесам свой простой и изысканный шпиль. Так был устроен наш мир, и иным мы его в юности и не представляли.

Мы на все смотрели по-юношески просто. У нас были свои взгляды, резкие, непримиримые, и тот, кто с нами не соглашался, был в наших глазах защитником грабителей. В том, что происходит грабеж, у нас не было ни малейших сомнений. В этих роскошных домах засели землевладельцы и капиталисты со своими негодьями-юристами и

обманщиками-священниками, а все мы, остальные, – жертвы их предумышленных подлостей. Конечно, они подмигивают друг другу и посмеиваются, попивая редкие вина среди своих бесстыдно разодетых и блистательных женщин, и придумывают новые потогонные средства для бедняков. А на другой стороне, среди грязи, грубости, невежества и пьянства, безмерно страдают их невинные жертвы – рабочие. Мы поняли все это чуть ли не с первого взгляда и думали, что нужно лишь решительно и настойчиво твердить об этом – и облик всего мира переменится. Рабочие восстанут, образуют рабочую партию с молодыми, энергичными представителями, вроде Парлода и меня, и добьются своего, а тогда...

Тогда разбойникам придется солоно и все пойдет наилучшим образом...

Если мне не изменяет память, это ничуть не умаляет достоинств того образа мыслей и действий, который нам с Парлодом казался верхом человеческой мудрости. Мы с жаром верили в это и с жаром отвергали вполне естественное обвинение в жестокости подобного образа мыслей. Порой в наших бесконечных разговорах мы высказывали самые смелые надежды на скорое торжество наших взглядов, но чаще мы пылко негодовали на злость и глупость человеческую, которые мешают таким простым и быстрым способом восстановить в мире истинный порядок. Потом нас охватывал гнев, и мы принимались мечтать о баррикадах и о необходимости насильственных мер.

В ту ночь, о которой я рассказываю, я был страшно зол, я та единственная из голов гидры капитализма, которую я представлял себе достаточно ясно, улыбалась точь-в-точь так, как улыбался старый Роудон, когда отказывал мне в прибавке к жалким двадцати шиллингам в неделю.

Я жаждал хоть как-нибудь отомстить ему, чтобы спасти свое самоуважение, и чувствовал, что, если бы смог убить гидру, я приволок бы ее труп к ногам Нетти и сразу покончил бы также и с этой бедой. «Ну, Нетти, что ты теперь обо мне думаешь?» – спросил бы я.

Вот приблизительно что я тогда чувствовал, и вы можете себе представить, как я жестикулировал и разглагольствовал перед Парлодом в ту ночь. Вообразите наши две маленькие, жалкие черные фигурки среди этой безнадежной ночи пламенеющего индустриализма и мой слабый голос, с пафосом выкрикивающий, протестующий, обличающий...

Наивными и глупыми покажутся вам понятия моей юности, в особенности если вы принадлежите к поколению, родившемуся после Перемены. Теперь все думают ясно и логично, все рассуждают свободно и принимают лишь очевидные и несомненные истины, поэтому вы не допускаете возможности иного мышления. Позвольте мне рассказать вам, каким образом вы можете привести себя в состояние, до известной степени сходное с нашим тогдашним. Во-первых, вы должны расстроить свое здоровье неумеренной едой и пьянством, забросить всякие физические упражнения; должны придумать себе побольше несносных забот, беспокойств и неудобств; должны, кроме того, в течение четырех или пяти дней работать по многу часов ежедневно над каким-нибудь делом, слишком мелким, чтобы оно могло быть интересным, и слишком сложным, чтобы делать его механически, и к тому же совершенно для вас безразличным. После всего этого отправляйтесь прямо с работы в непроветренную, душную комнату и принимайтесь думать о какой-нибудь сложной проблеме. Весьма скоро вы почувствуете, что стали нервны, раздражительны, нетерпеливы; вы начнете хвататься за первые попавшиеся доводы и наудачу делать выводы или их опровергать. Попробуйте в таком состоянии сесть за шахматы – вы будете играть плохо и раздражаться. Попытайтесь заняться чем-нибудь, что потребует ясной головы и хладнокровия, – и у вас ничего не выйдет.

Между тем до Перемены весь мир находился в таком нездоровом, лихорадочном состоянии, был раздражителен, переутомлен и мучился над сложными, неразрешимыми проблемами, задыхаясь в духоте и разлагаясь. Самый воздух, казалось, был отравлен. Здравого и объективного мышления в то время на свете вообще не существовало. Не было ничего, кроме полуистин, поспешных, опрометчивых выводов, галлюцинаций, пылких чувств. Ничего...

Я знаю, что это покажется вам невероятным, знаю, что среди молодежи уже начинают сомневаться в значительности Перемены, которой подвергся мир; но прочтите газеты того времени. Каждая эпоха смягчается в нашем представлении и несколько облагораживается по мере того, как уходит в прошлое. Люди, подобные мне, знающие то время, должны своим точным, беспристрастным рассказом лишить ее этого ореола.

Всегда в наших беседах с Парлодом говорил главным образом я.

Мне думается, что теперь я смотрю на себя в прошлом совершенно

беспристрастно: все так изменилось с тех пор, и я действительно стал совсем другим человеком, не имеющим, в сущности, ничего общего с тем хвастливым, сумасбродным юношей, о котором рассказываю. Я нахожу его вульгарным, напыщенным, эгоистичным, неискренним, и он мне совсем не нравится; сохранилась разве что подсознательная симпатия – следствие нашего с ним внутреннего родства. Я сам был этим юношей, и потому могу понять и правильно объяснить мотивы его поступков, лишая его тем самым сочувствия почти всех читателей, – но зачем мне оправдывать или защищать его слабости?

Итак, обычно говорил я, и меня безмерно изумило бы, если б кто-нибудь сказал, что в наших спорах не я был умнейшим. Парлод был молчалив и сдержан, я же обладал даром многословия, столь необходимым молодым людям и демократам. Втайне я считал Парлода несколько туповатым; мне казалось, что он молчанием старается придать себе значительность, старается казаться более «ученым». Я не замечал, что в то время, как мои руки годились лишь для жестикуляции и для того, чтобы держать перо, руки Парлода умели делать всевозможные вещи, и мне не приходило в голову, что деятельность его пальцев как-то связана и с его мозгом. Не замечал я также и того, что беспрерывно хвастался своим умением стенографировать, своими писаниями, своей незаменимостью для предприятия Роудона, в то время как Парлод никогда не выставлял напоказ своих конических сечений и вычислений, над которыми он «потел» на лекциях. Теперь Парлод знаменит, он стал великим человеком в великое время, его исследования о пересекающихся радиациях невероятно расширили умственный горизонт человечества; я же в лучшем случае только дровосек в умственном лесу, водонос живой воды, и мне остается лишь улыбаться, да и сам он улыбается при воспоминании о том, как покровительственно я говорил с ним, как болтал и важничал перед ним в мрачные дни нашей юности.

В ту ночь меня несло еще безудержней, чем обычно. Роудон был, конечно, осью, вокруг которой вращались мои речи, Роудон и ему подобные хозяева, несправедливость «наемного рабства» и тот промышленный тупик, в который уперлась, по-видимому, наша жизнь. Но все это время я то и дело вспоминал о другом: Нетти не выходила у меня из головы и точно смотрела на меня загадочным взглядом. Моя возвышенная далекая любовь придавала байронический оттенок многим бессмыслицам, которые я изрекал, пытаюсь удивить Парлода, и я ею бравировал.

Не хочу утомлять вас слишком подробным изложением речей неразумного юноши, отчаявшегося и несчастного, которого его собственный голос утешал в горестях и жгучих унижениях. Не могу теперь вспомнить, что именно говорил я тогда и что – в других наших беседах. Не помню, например, раньше ли, позже ли, или именно тогда я, как бы невзначай, намекнул на мое пристрастие к наркотикам.

– Ты не должен этого делать, – сказал внезапно Парлод, – Нельзя отравлять свой мозг.

Мой мозг и мое красноречие должны были сыграть немаловажную роль в грядущей революции.

Но одно место из разговора, который я описываю, я помню твердо: несмотря ни на что, я втайне решил не уходить от Роудона. Я просто чувствовал потребность обругать его перед Парлодом. Но в разговоре я так увлекся, что отступить было невозможно, и я вернулся домой с твердым намерением держаться со своим нанимателем решительно, если не вызываяюще.

– Не могу больше выносить Роудона, – хвастливо сказал я Парлоду.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)